

Михаил Жук

Воспоминания

«Июнь был прекрасен...»

Ни одно поколение в нашей стране не смогло прожить без войны. Что в XX веке, что в начале XXI-го...

Кому-то «повезло» – на его памяти была лишь одна война. А у большинства – три, а то и пять, если начинать с 1904, с русско-японской. А потом Первая мировая, Гражданская, бои на Халхин-Голе, финская, Вторая мировая...

Михаил Иванович Жук, художник и писатель, пережил три войны. И о каждой упоминал в своих воспоминаниях. Три города в его судьбе – Киев, Чернигов, Одесса.

Первая мировая – Киев. «З осені 1916 року я працював у Києві в конторі старшого техника Ціціліано, що проводила роботу по будові стратегічних мостів через Дніпро і що входила до складу військових частин по обороні Києва».

После очередной смены властей Жук бежит в Чернигов, к семье. Дневниковых записей о Гражданской войне почти нет, но в неоконченном рассказе описано то, что пережил безоружный художник при столкновении с «человеком с ружьем» – будь то в Киеве, или в Чернигове:

«Промокле пальто, капелюх, наче дзбанок на голові, – такий твердий і холодний. На ногах чоботи, що пропускають вохкість. А в голові одна думка: як здобути на прожиток. Ор Степанович Павлович ніяк не може збагнути, чому так спорожніла голова. Колись в ній збиралося повно різних думок і на різні теми. Колись вона була, як справжнє житло діяльних істот, а тепер усе те кудись повтікало, а на місце вибувших при-

йшов один, розвалився на всю голову та як молотком вистукує одне й те саме: «як бути завтра».

А хіба він знає, як йому завтра бути. Холод лізе від ніг аж на потилицю. Робиться моторошно, тіло скулюється. А тут ще ті постріли. Навіщо вони стріляють? Йому видається, що в цьому немає ніякої розумної потреби. Він ще здалека помічає постаті військових, і вони йому такі прикрі, аж до фізичного болю. Ор Степанович, коли це можна, старається їх обминути. Йому видається, що навіть думати при них не можна нормально. На них повно зброї, вони, ці люде, такі широкі, що застеляють собою всю вулицю. Вони для нього просто невідомі істоти з якогось іншого світу. А хіба він знає з якого. Може



Михаил Жук. Автопортрет

ще з дикунських часів, може з тих часів, коли при зустрічі один з другим просто провалювали голови без усяких попереджень і розмов, воюючи один з другим, бо кожний кожному ворог. Тільки одне йому ясно, що він вперше зустрівся з ними віч-на-віч. Зустріч вийшла жахлива. Це не просто «салдатики», про яких він знав у звичайному оточенню. А це нова, чинна істота, що позбавлена самої себе і залежить від когось там, зверху.

Ремесло цієї істоти – вбивство. Для цього вона має повно куль на парусинових биндах, має останньої конструкції рушницю за плечима, має наган, має шаблю, має на поясі бомби. Крім того ця істота зараз надбала право на всю людність, на її життя та на її майно. Це Ор Степанович яскраво зрозумів ще тоді, коли був у Києві та коли вперше до нього прийшли з трусом німецькі салдати. Вони увійшли в помешкання так просто, як до себе в хату. Все перетрусили, викинули на людські очі брудну білизну і все те, чого він не бажав би так одверто навіть сам бачити. То були люде теж з рушницями, з наганами в залізних збаннях на голові. Ор Степанович стояв, як облпований. Чемність, яка була

йому звична, тільки на зверхності панувала. А в середині кипіла буря образи, безпорадності, безглуздя. Як свердлом крутило питання – «Як же тепер жити на людях?».

Як можна після такої образи існувати, як можна себе вважати за людину, за істоту з розумом, з чимось вищим, з почуттям власної гідності. Як і кому відповісти, коли це дія того, чиє ім'я маса. Винуватого знайти не можна. Але сам вчинок настільки жадливий, що ні сонце, ні ночі, ні час його не змиють. По такому вчинкові людина стає інвалідом, тим моральним інвалідом, що вже йому немає місця серед людей здорових, серед нормального життя.

І справді він відчув, що в дальшому життю він перетворився на інваліда. От так, на самоті, його обхоплював сором за себе й за людей. Він згадував своє приниження десятками, сотнями разів. Він згадував, як з приниження казав не те, що думав, і робив не те, що казав. Пекучий сором виїдав йому нутро, але не ставало хоробрості, рішучості гостро крикнути уразникові, хоч може й в останнє, але крикнути.

А уразники плодилися тисячами. Без ніякого заперечення, – вони лізли у всі кутки, тероризували все навколо, творили хаос безглуздя, чад, отруту, насильства й насильства без ліку, без межі. Очевидячки, коли б їх було спитати навіщо? – то вони й самі того не знали. Хвороба війни втруїла їхнє почуття, спантеличила всяке розуміння дозволеного й не дозволеного. Героєм дня – стала озброєна людина, яка попередливо обезброювала інших, щоб творити маси підлоти, руйнації та приниження інших. Це давало якусь насолоду, потішало грубий інстинкт, викликало насмішку таку, якої не забути ніколи, як бува лише у стихії, особливо у вогню, коли він блискає гострими зубами й сміється».

С 1925 года Михаил Иванович живет в Одессе. Преподает в Художественном институте, занимается керамикой, прозу писать почти перестает, лишь стихи продолжает. Именно в Одессе он написал цикл сонетов «Море». В 1931 году его арестовали. Но повезло – через полгода выпустили. После освобождения из тюрьмы Жук, спасаясь от повторного ареста, уезжает на Дулевский фарфоровый завод. Вернулся в Одессу в сентябре 1939. Как раз в те дни начинается Вторая мировая.

А потом июнь 1941 года. В эвакуацию Жук не смог уехать, по воспоминаниям родных, не смог оставить заболевшую жену. В автобиографии он написал: «В период румынской оккупации – оставался в Одессе и продолжал работу в том же училище, ведя тот же керамический

факультет. С 1-го сентября 1943 г. был уволен со службы румынской администрацией. После увольнения служил в комиссионном магазине продавцом и оценщиком в антикварном отделе. Был членом Общества одесских художников как единственной силы коллективной защиты в условиях оккупации. Писал только иконы. Участвуя в обществе художников, нам удалось защитить хотя бы частично имущество и материалы, на базе которых с освобождением города от захватчиков художники смогли возродить О.Х.С.М.».

Жук продолжил преподавать в училище, в последние годы писал воспоминания: о детстве в Каховке, об учебе в школе Мурашко в начале века, об участии в организации Академии художеств в 1917. Писал на украинском языке. В его огромном архиве лишь одни воспоминания на русском – об одесском лете 1941 года. Ранее воспоминания не публиковались. Написанные почти семьдесят лет назад, они оказались удивительно созвучны сегодняшнему дню.

Алена Яворская

Июнь был прекрасен. Каждый день (из тридцати, ему принадлежащих) подымался во всей своей красоте и свежести. Деревья и трава сохраняли еще всю силу окраски мая и сочная зелень разнообразных оттенков – от блеклых и нежных тонов до густой зелени каштанов. Солнце, как и полагается, светило по-южному щедро и горячо. Море было похоже на голубой муар с сиреневой дымкой на горизонте, а небо спорило с морем чистотой лазури и высоким взлетом своей безбрежности. Цветы – целое море цветов: ярких, блестящих и разнообразных. Огромных размеров цинии, еще больших каллы, группы барбитусов и настурций, портулаков и ноготков, флоксов и кустов роз – да разве можно перечислить все имена этого блестящего собрания на празднике жизни? Это было в саду, это было посредине тротуаров, это заполняло весь город. Прибавьте к этому контрасты тени, хотя и темной, но мерцающей рефlekсами; прибавьте ко всему этому четкость формы с выразительностью резца Дюрера, и вы узнаете июнь 1941 года в Одессе.

Город жил своей полноценной жизнью с населением более чем в полмиллиона жителей. Июнем заканчивался учебный год. Юноши и девушки подводили итог своему годичному труду: волновались, сдавали экзамены, защищали дипломы. Где-то давно гремела война. Германский фашизм уже успел раздавить Бельгию и Францию. Английский экспедиционный корпус во Франции позорно бежал из Дюнкерка. Германия раздавила Чехию и двинулась в Польшу. Фашисты дрались в Африке. На бульваре в Одессе стояли большие щиты с картами стран, где бушевала война, и где обозначались линии фронта. Там всегда толпился народ, особенно вечером. Наконец было опубликовано, что Германия подписала договор с Советским Союзом и таким путем угроза войны была отклонена от страны Советов. Трудовой народ делал свое мирное дело. Может быть, мне следовало бы более обширно нарисовать общий фон, но задача моя состоит в другом плане, в плане только одного города, города-героя, города Одессы.

В художественном училище еще шла защита дипломных работ. Каждый день собирались там преподаватели, и в светлых мастерских обсуждали эскизы молодых выпускников. Было бодро, весело и хорошо. Но вот 21-го утром радио из Москвы объявило о выступлении Вяч. Молотова с правительственным сообщением. Тов. Молотов объявил всему советскому народу, что на рассвете германские самолеты напали на Советский Союз, сбросили бомбы над целым рядом мирных городов и таким путем начали военные действия против той страны, с которой заключили договор о ненападении, и который коварно нарушили в надежде молниеносным ударом покончить с ненавистной им державой. Началась вторая отечественная война.

Город вздрогнул и преобразился: началась светомаскировка, на окнах наклеивали бумажные полосы в виде диагональной расклейки, что так способствовало необычному впечатлению. Но страха вначале никакого не было: казалось, что это мигом пройдет, как бывает во время грозы. Налеты участились. Пока добраться домой, то несколько раз приходилось оставлять трамвай и прятаться в подворотнях – от одной тревоги до следующей. Сильные взрывы сотрясали воздух, и тонко звенело где-то осыпающееся стекло. Отбой – и опять в трамвай с надеждой добраться домой.

На обсуждении дипломных работ – та же картина: тревога – и мы прекращаем свою работу, поглядывая на большое стекло, выходящее на север. Вот видно высоко проплывет вражеская машина, а по ней стреляют зенитки. Видны разрывы снарядов, кажется, близко, у самого самолета, но он идет все в том же направлении, то есть в порт. А небесная гладь дышит зноем и чистой лазурью, ни облачка, ничего. Мы сидим молча, но каждый из нас молча следит за воздушным пиратом. В мыслях каждого живет надежда, что самолет будет подбит. Что еще один выстрел – и вражеская машина погибнет, непременно погибнет и не свалит своего смертоносного запаса на суда, производящие эвакуацию населения. Пират меняет курс. Видимо, не так легко подойти к цели. Идет на город. Через некоторое время слышны взрывы. Но нам уже не видно самолета – мы только догадываемся, что он свалил весь свой запас просто на город. Подлая, трусливая дрянь! Отбой. Мы опять обсуждаем работы выпускников. И так длится несколько дней, пока мы не заканчиваем нашего учебного года.

Строгий наказ обкома партии никому самовольно не покидать город. Мы обращаемся в наши учреждения, но нам говорят: «Не мешайте. Будьте готовы и ждите». Один, второй и третий раз одно и то же. Я прекратил хождение и начал ждать.

Дом специалистов – это два больших корпуса на сто квартир. Пролетарский бульвар, где находится дом специалистов, прекрасная зона санаториев вплоть до Малого Фонтана и до Аркадии. Здесь имеются магазины, почта, аптека. Напротив, к берегу моря, расположена кинофабрика. Немного дальше глазной институт им. Ак. Филатова. Все это среди зелени и буйной массы цветов. Трамваев три – 16 до Малого Фонтана, 17 до Аркадии и 25 тоже до Аркадии. По Ботанической улице – пивной завод и дом художников, ближе к Пироговской ул. – винный и ликерный завод. По Пироговской военные учреждения.

В первый раз я почувствовал, что мне делать нечего. Но это не было чувство отдыха, а как будто передо мной открылась большая дверь в неизвестное мне помещение, и я должен туда войти. Старший сын мобилизован и должен направиться в свою часть, но поезда туда пока нет. Перед ним так же открылась дверь, но там ясно, куда она ведет. У младшего сына так же ясно –

он работает на водопроводе, и водопровод не может прекратить работу. Кроме того, он белобилетный – у него бронхиальная астма с частыми припадками. Я осматривался на своей квартире и взвешивал, что мне делать. Картины, рисунки, фарфор: все это могло быть ежеминутно уничтожено, как может быть, и я, моя жена, да и вся семья. Открывалась дверь в неизвестное, но туда пока я и сам не пойду и своих близких не приглашаю. Как можно приглашать в неизвестное? Вечером комнаты затемнены, пока нужно немного покушать. А на ночь я с женой иду в подвал первого корпуса, где помещается водяное отопление. Там немного народа – женщин, стариков и детей. Это своеобразное общежитие, где главное место занимают блохи. Они истязают всех беспощадно.

Старший сын уехал не тем поездом, которым нужно, а только в том направлении. За ним дверь закрылась. Слезы жены, горькие слезы матери свидетельствовали только, что неизбежное свершилось. Младший сын бодро шагал на «Чумку», на водопровод. Налеты врага на город не прекращались. В поздние сумерки было видно с балкона, как вспыхивали огни оружейных выстрелов, защищающих Одессу. Звезды мирно роились в глубине неба, а цветы струили сильный аромат в легких колебаниях воздуха. Да проходили группами милицейские патрули. Огни орудий не прекращались. Слышался только легкий гул, тревога. Лучи прожекторов заскользили по небу – встречались, перекрещивались. Наконец, появлялась белая точка пойманной машины. Летели трассирующие пули. Глухие взрывы падающих бомб где-то ухали над теплой массой города. И опять звезды и одуряющие запахи цветов. В минуту тишины слышно было, как шумит море.

Впервые я почувствовал во рту вкус и не мог его иначе определить, как вкусом смерти. Эта странная сухость на языке и спазматическое состояние горла. Слюна горьковатая. Невольно приходили на память «условные рефлексы» Павлова. Может быть, это и не был условный рефлекс, но я точно помню, что он начал появляться постепенно и все время совершенствовался. Да, я это воспринял как условный рефлекс вкуса смерти. Он всегда возникал в моменты наибольшей опасности, и вместе с ней прекращался.

А дни июля вставали, как и прежде, такие же солнечные и такие же бодрые. Каждый из них приносил нам сведения о слу-

чившемся в городе: где-то что-то было разрушено за прошедшую ночь. Налеты продолжались, продолжались и ночью, и днем. Было уже подбито немало машин противника, что вызывало большую радость и большие надежды. Но вот однажды в нашем подвале прозвучало грозное слово «осадное положение». Откуда оно пришло – никто не мог сказать. Но все почувствовали новую фазу борьбы. До этого все шло каким-то своим порядком. Подъезжали машины и увозили целые семьи с чемоданами и связками имущества. Некоторые уходили с рюкзаками, мешками в направлении Николаева и Херсона. А я сидел у своего входа и ждал сообщения от своей организации о возможности выезда в порядке очереди. Так и не дождался. Когда грузилась последняя машина, я спросил, как идет эвакуация. Мне сообщили, что они едут чуть ли не последними, что дороги для машин сделались опасными, и возможно, что и совсем будет прервано дорожное сообщение. Я опять почувствовал острый вкус смерти в горле. Что же осталось? Суда и море. Порт еще работает, но ползут слухи, что воздушные пираты сильно бомбят пароходы, и что даже некоторые погибли. Осада города все больше и больше подтверждалась.

Однажды появился в моей квартире профессор Шетле (химик) и просил приютить его с женой у себя, так как у нас второй этаж, а жена очень нервничает, и ей кажется, что сойти с III этажа на второй – будет более безопасно. Я уступил комнату старшего сына, и они переселились с 1-го корпуса к нам во второй. Жена Шетле действительно оказалась в совершенно невменяемом состоянии. Как моя жена убеждала ее, что нужно ко всему относиться разумно, она для этой разумности не находила в себе достаточной силы и продолжала метаться, теряя последние остатки мужества. Кончилось тем, что через несколько дней они бежали в здание университета, где стены капитальные и где находилась возможность поместиться в подвальном этаже. Профессор, еще будучи у меня, ходил в наше военное командование с предложением своих услуг как химика, но ему ответили, что когда будет нужно, то его позовут, а пока пусть он ждет. Так ли это было, я не знаю, но так он мне передавал. Жена моя высказала догадку, что он, как по рождению немец, – просто хотел себя этим обезопасить. В дальнейшем предположение жены, пожалуй, оказалось

верным. Но об этом в своем месте. Был другой профессор Соколов, который преподавал в стоматологическом институте и был мастером по пластическим операциям. Мог переделать любой нос по желанию и по определенному рисунку. Прекрасно вставлял челюсти, удалял всякие пороки на человеческом теле. Жена у него была по рождению немка и вполне спокойно относилась к событиям в городе: ни излишней нервозности, ни излишних разговоров. На людях тоже бывала мало и, если говорила, то отвлеченно, не касаясь событий дня.

Профессор Шацилло на ночь всегда убегал на дачу к своим приятелям – доценту Фельдману, и хвалил мне, что там спокойно, и он даже купался в море, как по утрам, так и вечером. У него была работница Клема из немецкой колонии под Одессой, которая оставалась дома, чтобы беречь квартиру. Многие вечера я проводил у него, обсуждая события. Кроме горького чувства и ненависти к предательскому поступку Германии – мы ничего другого не могли чувствовать. Сын Шацилло врач – был на фронте.

К великому сожалению, у нас отобрали приемники и выдали расписки. Радио тоже сообщало только тревогу. А на все остальное остались только слухи и догадки. Прекратил работу водопровод, так как станцию на Днестре разрушил противник оружейным обстрелом. Сын был переброшен на щели, где электромотором подавалась природная вода, достаточно соленая. Но все же вода была. Сын работал на ночной смене и, как только он уходил на день, начинался налет противника. Зенитки усердно обстреливали врага. Водоснабжению помогали и все многочисленные колодцы, которые от давна существовали во многих дворах города. Дом специалистов как дом новой постройки колодца не имел. Правда, были источники и хорошей воды, но это от нас далеко, под самой Аркадией. Большинство же источников и колодцев содержат соленую воду. Но все же это было спасением для осажденного города. Водопровод действовал и население имело воду, пусть и соленую, но все же воду.

Отъезд из Одессы значительно ослабел. Можно было выехать только морем, но на такую поездку многие не решались: обстрел с воздуха, трудности получения пропуска и отсутствие нужных денег отвращали даже горячие желания. А здесь все же было

и питание, и свой угол, и знания, где и что можно было получить. Женщины деятельно снабжали каждую семью и хлебом, и жирами, и прочими продуктами. Меня только крайне удивляло, что в городе оставалось много евреев. Со своими приятелями художником Д.М. Шатаном и С. Абрамовной, его женой, которая работала в стоматологическом институте, подавая помощь раненым на фронте бойцам, я не раз беседовал о том, что им следует обязательно уехать. Я знал, что Шатан еще до революции был крещен, но потом от этого крещения отказался и получил советский паспорт уже как еврей. Правда, Софья Абрамовна была караимка, но это, по-моему, не меняло положения. А о том, что немцы с евреями расправляются беспощадно, – мы прекрасно знали. Но С. А. всегда мне возражала – «Не говорите. Я знаю немцев по войне 1914 года и я прекрасно тогда работала как зубной врач, и никто меня не трогал. А если теперь мне нашьют какой-то значок, то ведь это ничего не значит: буду лечить и со значком».

«Вы ошибаетесь, – уверял я. – Немцы 1914 года не те же немцы, что теперь. Тогда евреев не избивали и не расстреливали, а теперь совершенно по-другому». – «Нет, нет, – возражала Софья Абрамовна. – Вы преувеличиваете, так как этого на самом деле нет». – «А муж», – ... спрашивал я. «Муж крещеный». – «А по паспорту?» – «Нет, все равно, он крещеный, еще до революции. Ему не страшно».

Однажды я обратился к Софье Абрамовне с просьбой достать для меня яда. «Что вы, – замахала она руками. – Я этого сделать не могу. Да он вам и не нужен». – «Всяко бывает. Разве можно предвидеть, что нас может встретить. А я его просто хотел бы на всякий тяжелый случай». – «Нет, такого случая не будет, и я вам его не дам». – «Напрасно. Это не так страшно, как вам кажется. Это не преступление, а скорее милосердие». – «Нет, нет, и не говорите: я все равно не могу исполнить вашу просьбу». На том и закончился наш разговор. Позже Софья Абрамовна вспомнила его, но было уже поздно.

Среди оставшихся в городе был и врач Тартаковский с молодой женой и двумя братьями – один из них был архитектор, который у нас окончил архитектурный факультет в Одесском художественном институте и которого я хорошо знал, а другой инженер,

помоложе, который скрывался от воинской обязанности при помощи брата-врача, а позже уже на даче, которую нанял брат и где он отсиживался.

Тартаковский также решил не уезжать. Он говорил, что великолепно знал немецкий язык и поладит с немцами. Я выразил сомнение, но он уверенно заявил, что я ошибаюсь. Нанял дачу, поселился там и только по временам навещал свою квартиру, которая была смежной с моей. Встретил я однажды архитектора, который тащил в руках две связки книг. «Куда это?». Он рассмеялся. «А вот хочу припрятать у знакомых; разбросаю по разным местам, таким путем сохраню если не все, то хотя бы часть. А книги для меня, вы же знаете, имеют решающее значение. Да и собирал я их очень долго, многих теперь и достать невозможно». И его тощая фигура удалилась от меня в направлении города.

Некоторое время, до переезда на дачу, встречал я и брата инженера. Этот был небольшого роста, но плотный и деятельный. Голова у него была обмотана платком, и я осведомился, что это с ним. «Да вот все болен – то лучше, то хуже. А больше хуже». – «А как же с военкоматом?» – «Имею от комиссии удостоверение, что по болезни нахожусь на коечном лечении». Физиономия у него перекосилась и он, схватившись рукою за завязанную щеку, предпочел поскорее убраться в квартиру. Ну, подумал я, нескоро ты выздоровеешь. После переезда брата на дачу он еще продолжительное время находился в квартире, но никому не открывал ни на звонки, ни на стук в дверь. Проходившие случайно по лестнице говорили такому человеку, что доктор переехал на дачу, в квартире никого нет. Через некоторое время он из квартиры ушел на дачу к брату. Думаю, потому, что срок свидетельства от комиссии истек, и потребовалось просто скрыться. Что он и совершил весьма незамедлительно.

Налеты на город продолжались. Иногда ночью над домом специалистов вспыхивала ослепительным светом сброшенная с самолета ракета и, медленно опускаясь, освещала большую площадь улиц и зданий. Сейчас же падали «зажигалки», как их называли, которые всегда бдительные граждане своевременно тушили песком. «Зажигалки» никого особо не пугали. Народ понял, что с ними можно бороться без особого риска: только нужна была

своевременность и решительность. Особенно частым бомбежкам подвергалась близкая от нас Пироговская улица. Очевидно, враг знал, что на ней расположены многие военные учреждения. Но не учел главного, что их там уже нет. Вообще, в ходе всех налетов врага я убедился, что «военные объекты» – это просто гнусное оправдание бомбежек города.

Перед началом войны нас уверяли, что дом специалистов имеет свое прекрасно оборудованное бомбоубежище. Когда просили его нам указать, то нам отвечали весьма убедительно, что когда будет в этом необходимость, то тогда нам его и укажут. Но никакого бомбоубежища так и не оказалось, кроме кочегарки центрального отопления, где все удобства заключались в неисчислимом количестве блох, которые заедали и стариков, и детей, и всех вообще, кто там находился. Входя туда в сумерки, вы попадали в большой подвал, где главное место занимали котлы, а все остальное пространство было занято плетеными из лозы [неразб.], ящиками и всем тем, что могло создать там место для лежания или место, где помещались примусы и посуда для варки пищи. Маленькие окна были плотно закрыты, и только входная дверь являлась источником воздуха. Помещение скудно освещалось несколькими голубыми лампочками и только среди ночи одна или две лампочки в глубине для того, чтобы открыть дверь во двор и освежить помещение. Говорили тихо, почти шепотом. За день многие пробирались в город, то на работу, то за продуктами. К вечеру всегда появлялись сведения о том, что произошло вокруг, в зависимости от событий люди или радовались, или огорчались.

Наконец в один из вечеров пришел слух, что Одесса в осадном положении. Как ни старались смягчить это сообщение, но все поняли, что Одесса окружена неприятелем. Налеты вражеской авиации продолжались и днем, и ночью. Приготовить пищу днем в квартире было трудно. Частые тревоги требовали гасить огонь и спускаться в нижний этаж, а потом вновь подниматься и продолжать прерванное дело. Но люди приспособлялись: и находили продукты в очередях, и кормили стариков и детей, а также и тех, кто возвращался с работы. Недостатка в продовольствии не было.

Часто по улицам проводили группы пленных румын – исхудалых, заросших бородами, в истрепанной одежде. Они пугливо

озирались и на фоне солнечного дня казались еще более ничтожными, еще более обездоленными. О них также шли разговоры в нашем подвале. Одно можно сказать, что сочувствия в это время они не возбуждали.

Состав обитателей подвала был пока еще «свой», то есть из лиц, живущих в этих же домах. Площадь наблюдений шла от Пироговской улицы до Кирпичного переулка, а затем по Ботанической до 2-й станции Большого Фонтана. Днем приезжали те, что ютились на дачах, – достать продовольствие, а также присмотреть за квартирой. Все сводилось к мелким заботам о личной безопасности и таким же мелким соображениям о неизвестном будущем, основанным на неясных слухах, в которых преобладал животный страх полной неизвестности.

[После 1954 г.]

